

Галина Щербакова

Армия любовников

С некоторых пор я жду телефонного звонка. Ожидание почему-то всегда наступает меня у раковины, когда я выковыриваю из стока чайники, невероятно раздражающие мужа. Я никогда не достигну совершенства в очищении системы стоков, но именно в момент стремления к нему я остро хочу, чтоб она мне позвонила.

Хочу услышать ее голос, в котором так рядышком живут нахрапец и насмешка над ним же. Сначала она спросит, звонит ли Шурик. На этом меня легко подзавести: Шурик не звонит. Те заграничные деньги, на которые он живет далеко-далече, дороже наших. Я это понимаю, что не мешает мне обижаться.

Тут, глядя одним глазом «Санта-Барбару», я вдруг обнаружила: такого понятия, как обидеться, у тамошних героев как бы и нет. Они обходятся без него легко и просто, как мы без личных адвокатов. Может, острое чувство обиды и есть наша защита, когда никакой другой нет. Впрочем, я ведь не о том. Я о том, какой первый вопрос она мне задаст, если позвонит. Десять лет тому назад она спрашивала, как «проявляется» молодая невестка и правда ли, что я ее так уж люблю или придуряюсь, чтоб

выглядеть лучше других. У нее всегда вопросы с этой... подь...кой. Прости меня, Господи! Двадцать лет назад она спрашивала, какие у сына размеры... Первые джинсы для него привезла мне она. Венгерские, за 80 рэ, остальным – за 120.

Теперь вот канула. «Слава Богу, – говорит муж, – что у тебя с ней общего?»

В эти минуты я вижу его насквозь, потому что знаю: он говорит так, чтоб потрафить мне.

На белом свете всего три человека, которые были озабочены этим – потрафлять мне. Дедушка, считавший, что я самая умная, бабушка – что я самая красивая, и муж, который всегда доказывает мне, что люди, огорчающие меня или, не дай Бог, меня ненавидящие, принадлежат к той породе, с коей порядочные рядом не стоят. Где я – где она? В смысле – та порода.

На всю жизнь всего три безоглядных, абсолютных моих защитника. Много это или мало?

У меня долго не было квартиры. Еще дольше – денег. Бывало, не было работы, удача приходила нервно-спорадически, я теряла друзей и переставала любить близких.

– У вас очень сильная защита, – удивленно сказала мне одна экстрасенстка, волею судеб оказавшаяся у меня дома.

Она, специалист по прочности газовых котлов – в этот момент я, возможно, прохожу у нее по

разряду мелких котлов, – с интересом смотрит на меня, ожидая пояснений. Ей любопытна природа моей охраны. Но как я ей скажу? Как я скажу про слова дедушки и бабушки, которые живут до сих пор, никуда не делись, хотя их самих уже нет более тридцати лет?

Я к тому, что понимаю логику мужа: он видит это мое напряженное ожидание звонка и по-своему пытается мне помочь.

Да, у меня с ней ничего общего, она – другая природа, у нее иначе течет кровь, иначе кудри выются. Мы даже не подруги...

Мы больше, потому что я ее соглядатай. Подсмотрщик. Вампир-теоретик. Я прожила с ней то, чего мне не дано было по определению: бодливой корове Бог рог не дает.

В сущности, она – это я. Только рогатая.

...Чужие жизни хорошо заключаются в сферу. Перебирая пальцами шар бытия чужой жизни, ее можно наблюдать со всем возможным бесстыдством. Ведь Гомер не таскал за Ахилла его щит и Карамзин не шептал в ухо Эрасту, какая он сволочь. Сфера, она и есть сфера. Ты тут, а они там. Лев Николаевич, сладострастник, носил при себе лупу, пряча ее от Софьи Андреевны в кармашке исподней рубахи. Не было кармашков? А откуда вы знаете? Вы так же точно не знаете про это, как я

знаю. Просто чувствую: вот он подносит лупу к глазу, чтоб разглядеть короткую губку маленькой княгини. Вот он плачет от умиления и страдает, что она у него скоро умрет. С этим – увы! – уже ничего не поделаешь. Потому как блохой скачет эта глазастая девчонка Наташка, а Андрей еще женат. Жалко княгинюшку, но графинюшка – такая прелесть, но ведь красавцы и умницы, как Болконский, даже на очень большой роман бывают в единственном числе. А тут еще война... И Пьер такой замечательный. Вот и плачет Лев Николаевич, приставив лупу к глазу и любуясь в последний раз короткой губешкой. Не жить ей, не жить...

Мне тоже хочется тихонечко мизинцем тронуть вспотевшую губку умирающей княгини. «Зачем ты так сделал? – скажу я старику с лупой. – Зачем ты их погубил всех, лучших?»

Но мне уже некогда. Я уже иду внутрь собственной истории, внутрь сферы, мне предстоит счастье мять и тискать своих персонажей, и больше всего достанется тем, кто попадается мне «на раз».

Мне всегда жалко расставаться со случайными людьми, которые толкутся на обочинах сюжетов. Как, например, эта старушонка, что присела помочиться за огромным щитом рекламы, на котором Синди Кроуфорд смачно –

из-з-з-юм! – выпячивает покрашенные губки. Ни старушка, ни Синди о существовании друг друга ничего не знали. Могла ли Синди присесть пописать в людном месте возле метро, прикрывшись самой собой? Могла ли старушка вообразить биде этой фанерной «страхолюдины»? Это ж какая у нее жизнь, думает старушка, если она на такую работу – отпячивать губки – согласна? Да она бы смолоду и за сто рублей не стала этого делать.

Я покидаю ее с сожалением. Мне хотелось бы еще поторчать тут, за щитом. Но я уже вошла в сюжет... Грубовато, скажем, но как умею... Я вошла в сюжет – вошла в метро... Мне надо догнать ту, что мне не звонит. Она едет от Киевского вокзала, и ей сейчас очень хочется подвзорвать этот чертов мир. Поэтому она стоит у сквозной двери и матерится.

«Такая х...я!» – бормочет она и оглядывается, не слышал ли кто. Слышали... Бабулька, что сидит рядом – о ней я как раз и говорила, – распахнула на нее старые, уже не отсвечивающие глазки, но, встретив вполне пристойный взгляд Ольги, стусевалась и даже, видимо, решила, что неприличное слово родилось в голове у нее самой (так с ней бывало), бабулька даже виновато ерзнула и прошептала: «Господи, прости!» Ольга же

никаких прощений сроду ни у кого не просила, тем более за вырвавшееся слово. Слово это – из ряда тех обиходных, которые всегда во рту и могут определять все, что угодно: еду, настроение, нового знакомого, погоду, обстановку в стране, отношение к Думе там или войне. Спятишь, пока будешь искать другое, адекватное, а это всегда между зубами, в ложбиночке между пломбой и костью, живым и мертвым – где же еще ему обрестаться?

Я знакома с Ольгой сто лет и получила ее, так сказать, со всем ее словарным запасом жизни. В нем намешано все.

А у кого не намешано? Давно заметила: отсутствие выбора, одинаковость среды рождает в душе несчастного человека тайный плюрализм такой гремучей смеси, что до самовозгорания шаг. В нас во всех, пуристах и ханжах, всегда достаточно б...а, а наша щедрость до дури непринужденно перерастает в такую копеечность, что для описания ее требуется особый случай.

Так и Ольга. Природное целомудрие вспороли в ней без анестезии, и она его давно «за доблесть не держит». «Знаешь это что?» – сказала она мне, когда мы только-только стали принохиваться друг к другу. Между прочим, в прямом смысле слова: она возила из Польши косметику, а Посполитую снабжала утюгами и кипятильниками. Судьба свела нас на духах «Быть может». До французского

парфюма у страны тогда не доросли ноги, а зелененький флакончик за рубль двадцать был народу по силам. Но он был редок в продаже. Так вот, еще тогда она мне сказала: «Таких правильных девочек, какой я была, жизнь выполола в первую очередь. Теперь я баба грубая».

Ей было самое то – по нежному и красивому бутылочным стеклом. «Меня знаешь, как первый раз трахнули? Зашивать пришлось. А знаешь, кто? Инструктор райкома комсомола. Я тогда в президиуме сидела, херувим такой с бантиками... Кстати, ты не объяснишь, почему херувим начинается с хера? Им и кончается, между прочим... Я инструктора не выдала, но уже по другой своей дури – идеологической. Я как бы не могла опорочить святое... Улавливаешь степень идиотизма? Степень сдвига? Решили, что на меня напал маньяк. Его стали ловить, а я путалась в показаниях, кретинка такая».

Мне всегда была неприятна ее абсолютная откровенность. И я бы приняла за основу ею же брошенное слово «дура», но это была неправда. Ольга была умная баба, острая, быстро соображающая, точная в оценках. И одновременно она бывала идиоткой без конца и краю, от Парижа до Находки, что называется.

Я терпеть не могу дураков. Это на самом деле

недостаток, а никакая не доблесть, жизнь сто раз подсказывала мне, что набитый дурак – не самое большое зло на земле, что самое большое зло вспухает как раз в той компании, где гнездятся, хлопая крыльями, умники. Это они заваривают кашу, они придумывают идеи, от которых по земле идет порча и корча. Дурость дураков в другом – в самозабвенном шаге навстречу умнику. Людоедство, бомба, какой-нибудь иприт-люизит еще только лежит на полке дьявола, первый умник еще почесывает бороденку, вполне, может быть, размышляя: «А не очень ли я тут замахиваюсь?», но дурак уже тут как тут, он рядом и готов взять на себя черное дело умника. Так вот, я их ненавижу, этих, которые всегда и во всем готовы. Я узнаю их в лицо сразу. Я их унюхиваю. Я ощущаю их вибрации. Не дай вам Бог моего чутья! Унюхав что-то там, я прекращаю отношения, я с треском рву эту ткань связи – и что? Сама же и не до-считываюсь друзей, подруг... К чему это я? Ольга никогда – никогда! – совершая самые безумные поступки, не давала оснований думать, что она дура. Такая вот сякая, всякая-разная, часто идиотка, злобница, но не дура. Поэтому мы не дружа дружили, и мне были интересны переливы ее какой-то смешной и все-таки глупой жизни, но я уже постигла еще одну истину. Умный человек может прожить глупую жизнь. Глупому такое,

наоборот, обломиться не может.

Мы стоим в том моменте Ольгиной жизни, когда она едет в метро и произносит характерное для нее слово. А рядом бабулька, которая принимает это слово как свое. О, это великое свойство моего народа – воображая, как бы и быть. Навоображавшись за день, до дела ли? Поставить бы датчик внутрь, к нашим мысленным мостам, царствам, кровопролитиям, высоким дымящимся фаллосам и мохнатым, как звери, лонам. Ни к чему бы была другая энергия.

Старушка была моим народом. Поэтому она мысленно теснилась в узкой Ольгиной юбке и говорила неприличное слово. Одновременно кумекая, что дама слева, в кожаном пальто до пола и юбочке едва-едва, таких слов не может знать – откуда ей, образованной? Она, что ли, ломалась зимой на заводе по две смены в тонких голубых рейтузах, к которым попа примерзала отнюдь не фигурально, но молодой тогда бабульке они так нравились, шелковые эти штаны пятьдесят второго размера – какой был у нее, она не знала, сроду по номерам ей ничего не покупалось. Вот с тех рейтуз у нее, бабульки, цистит, проклятущая болезнь, когда писать хочется часто-часто, и по всей ее жизни от этого одни разочарования. Вот она и сказала: «х...я» – она, эта, в запахе счастья, таких слов не знает.

То же самое о бабульке думала и Ольга. Вот, мол, из нее, Ольги, жабы просто выпрыгивают, а эти божьи одуванчики, по многу раз видевшие Ленина в гробу, но не верящие в его смерть, доживают свой век в нищете и дикости – и тем не менее чисто. От старушки пахнет простым хозяйственным мылом и, как ни странно, чем-то еще и дорогим. Ольга, чтоб не зацикливаться на этом, решила, что пахнет святостью. Бабулька же – это к запаху – просто-напросто ехала от ворот кондитерской фабрики, где дешево продавали шоколадный лом. Вот он и пах из ее сумки, как ему и положено, дорого. Перебитый жизнью шоколад. Даже у шоколада случаются разные судьбы.

Ольга думала свою мысль.

...Две недели назад она тоже ехала в метро, только к вокзалу, а не от него. И у нее тогда был новый чемодан с очень стильными металлическими углами. Она на эти углы просто запала, когда увидела в магазине. Представила, как понесет его носильщик, а она будет небрежно так на него не смотреть, ибо не на «трех вокзалах» это произойдет, где глаз нельзя спускать с носильщика, а лучше вообще бежать следом за ним, контролируя его постоянным касанием вещей. Она так и ехала до самой Варшавы, практически не слезая с нижней полки, где лежал чемодан, в туалет ходила

ограниченное число раз и так расстроила желудок, что, не будь по дороге Варшавы, практически своего родного города, в котором поймут твои проблемы, неизвестно, чем бы это кончилось. Ванда же дала какие-то таблетки, ее немножко покрутило в кишках, и все прошло. Ванда – спец по лекарствам, отправляет их в Союз, извиняюсь, в Россию, но не через Ольгу. Другой у нее канал. Ванда в курсе всей Ольгиной жизни – от и до. Она, можно сказать, с младых ногтей знала и ее маму-инвалида, и дочку-акселератку. Идиллическое было время, просто другая эпоха! Дочка у Ольги всегда была хорошо одета, а у мамы в тумбочке лежали лекарства от всего. Частично Ванда просто дарила их Ольге.

Сейчас дочка, слава Богу, хорошо замужем, у зятя диковатый (продает спортсменов) бизнес с Испанией, мама умерла, царство ей небесное, умерла практически без проблем для окружающих, что есть высшая степень святости жизни, потому как... Тут и объяснять не нужно. По нынешним временам умирать надо мгновенно: раз – и ты готов, по типу действия СВЧ. Или что там у нас первое по скорости... Сейчас до фига замечательных вещей. Они должны помочь людям жить быстро, но и научить умирать на слове «раз». Мама-покойница откуда-то знала это сама, умница такая.

Но вернемся к чемодану. Ольга купила этот, с уголочками, потому что была идея (будь она проклята!), что от них, отпадных уголков, ее мир начнет строиться заново, по какой-то другой схеме. Как строит Москву Лужков? Дом-коробка, дом-коробка, а он (или кто у него там?) придумывает к коробке зеленую крышу теремком, вставляет в нее пистон-шпиль. Пришпандоривает к дому крыльцо с козырьком под цвет крыши, опять же пистон-шпиль, и глядишь – нелепый дом как бы выиграл. Теперь человеческий пример. Всю жизнь ты ходил в коричневом немарком пальто, а потом раздухариваешься и покупаешь бежевое с воротником хомутиком и с пуговицами, которые вполне могли бы работать маленькими блюдечками. И пошли вы все! Вот и Ольга, оттолкнувшись от Лужкова и чемодана, взяла и нарисовала новую схему собственной жизни. Дочь в замуже, мама в могиле, и лет ей всего ничего, она даже еще при менструации, которая приходит как часы. Разве не время новой крыши, шпиля и прочих излишеств яркого цвета? К тому же... Это существенно...

Время это расцвечено не только шпилями там и сям, не только перетаскиванием с места на место Поклонной горы скульптуры, посвященной горю, – она как бы не в пандан идее времени, – но и другими чудными вещами. Например, желанием

стать князем там или графом. Просто так, потому что хочется! Одной милой моему сердцу даме за заслуги в науке дали такой титул, напроць обойдя факт биографии, что батя ее, царство ему небесное, был бойцом на мясокомбинате. Я, увы, не вегетарианка, я ем братьев моих меньших. И понимаю: кто-то должен обслуживать мои хищные потребности. Должны быть для этого бойцы-убийцы. Но чтоб приставили к этому делу князя! Милая моему сердцу дама тоже смеется над фактом своего княжества. «Это ведь так, – говорит она. – Понарошку». Но штуковину с гербом на стену все-таки повесила, и глядишь – через какое-то небыстрое время мои внуки будут называть ее внуков «вашеством» или кем там еще... Мне что, жалко? Что, внуки сами не разберутся? Но помните, я как бы уже намекала... Умный только придумывает пакость... Шаг вперед всегда делает дурак.

Мы с Ольгой обсмеяли все эти «из грязи в князи» давно и со вкусом. Наши отношения претерпели многое за время великих перемен. Польша перестала быть клондайком спекулянтов, мир стал куда шире и соблазнительней. К примеру, выиграла Турция. Египет перестал быть картинкой с пирамидой. Ольга уже могла себе позволить не таскать тюки, но совсем не таскать тоже было нельзя: институт, где она была вечным мэнээсом,

сгорел синим пламенем, а хотелось и то, и се... Какие ее годы? Хотя выйти замуж немолодой женщине – дело практически безнадежное, если ты не просто ищешь штаны в квартиру. Есть такие, что именно это и ищут: чтоб мычала, бурчала, сопела другая природа. И мы с Ольгой даже решили, что камень в наших сестер мы не бросим. «У каждого свой вкус», – говорила Ольга.

Для себя она хотела другого. Первый, трагический, случай юности отодвинул ее женский опыт лет на десять. Все обязательные правила той жизни были выполнены: институт окончен, отхлопано бесконечно неподвижное при возможных потрясениях место в НИИ, Ольга пошла, что называется, своими ножками. Мама, тогда еще живая, все боялась, что ее лежащая болезнь станет камнем преткновения. Придет молодой человек в дом, а тут мама лежит, и низко спущенное одеяло как нельзя больше подсказывает глазу, что именно там, под одеялом, стоит этот самый прибор по имени «утка». Как на это может реагировать молодой претендующий человек? С отвращением. Поэтому у Ольги раньше всех оказалась однокомнатная кооперативная квартира, в которой она ни дня не жила. Папа надорвался, зарабатывая на пай, и вскоре умер. Мама целиком легла на руки Ольги, а квартира дождалась своего часа. Манька, дочь, переехала в нее сразу после

десятого класса.

Так вот. Дочь у Ольги не от ветра. Муж у нее был. И довольно долго, между прочим. Нормальный муж, под свисающее одеяло покойной тещи не заглядывал. Хорошо относился к маме, тайком от Ольги давал ей выпить рюмашечку-другую. Ольга была в этом смысле строга до отвращения. Хотя почему было не дать выпить лежачей матери, у которой радости было в жизни – смотреть на Валентину Леонтьеву и вспоминать, как однажды они встретились в магазине и Леонтьева будто бы спросила у матери Ольги, как она считает, пойдет ли ей салатный цвет? И будто бы мать объяснила ей, Леонтьевой, что салатный лучше не носить вообще – он бледнит, – ей, Валентине, можно носить хоть серо-буро-малиновый, хоть не разбери-пойми какой, потому что она сама – цвет! Если случайная, даже не факт, что состоявшаяся встреча наполняла жизнь матери смыслом («Я сказала ей: „Вы сами – цвет!“»), то что такое две рюмашечки? Просто святое дело!

Дальше пойдет идеология. Хорошо бы о ней написать не словами, а какими-нибудь кружочками, потому что букв жалко, но куда ж без них? Разошлась Ольга с мужем, потому что в момент каких-то важных первых выборов вспомнила себя в белом воротничке и того потного гада в

лакированных ботинках. В результате пошли они с мужем на разные собрания. Правда, он ей сказал: «Ну, хочешь, я пойду с тобой, хочешь?» Но это уже не имело значения. Он ведь по сути своей инстинктивно выбрал то, откуда она также инстинктивно бежала. Сработала автоматика, которая, как известно, – бездуховная дура, но поди ж ты, действует безошибочно.

Однажды, сидя перед телевизором, Ольга потеряла сознание, не надолго, на чуть-чуть, но когда «вернулась», ощутила такую жаркую, такую лютую ненависть, что позвонила мне.

– Слушай, – сказала, – быстро расскажи анекдот. Только не думай, сразу...

– Встречаются Сталин и Зюганов...

Она бросила трубку.

Потом перезвонила и сказала:

– Извини, я хотела про чукчу. Про евреев. Что, про них анекдоты кончились?

Мы поговорили на эту тему. Какие мы дуры, что не вышли за евреев и они нас не увезли подальше от этой земли. Вялый получился разговор, без энергетика – ну, не вышли, ну, не увезли... Такие две уже неподъемные тетки, которым, как тому петуху, все одно: догонять ли курицу для... или чтоб просто согреться. И второе даже предпочтительнее, раз уже возникает в голове как возможный вариант. О! За тайностью мотивов

очень и очень надо послеживать.

Но Ольга все-таки попробовала выйти замуж за границу, почему и чемодан возник. Это не было принципом: за границу, и только. Просто случай шел ей в руки. Черным по белому было написано, что некий немолодой и вдовый, как бы из маркизов, обеспеченный так, чтоб не брать в голову проблему мыла, свечей и керосина, жаждет любви славянки-блондинки без детей, не выше сорока пяти лет. «Только идиот будет придираться к разнице», – подумала Ольга.

Ключевое слово «маркиз» попало не просто в сердце, что там сердце! Оно здоровущее, в него попасть – раз плюнуть. Слово попало в сущность невидимую, в некое средостение молекулы, выполняющей одну из самых неблагодарных задач: молекула эта отвечала в нас за все тайные притязания. Шпили, консоли, витые лестницы, специальные вилки для рыбы, шляпы с пером, выдернутым из задницы павлина. (Боже, как им не жалко птиц!) И многие другие деликатные разности, которых я могу и не знать. Я не Ольга, и хотя у меня самой притязаний вагон и маленькая тележка, в меня бы слово «маркиз» сроду не влетело, а в Ольгину молекулу – просто с первого попадания.

Вот почему мы коснулись этой дуромании: встрять в князя там или графья, откопать в

прошлом беленькую косточку ноги такой из себя нежной, слабой, не раздавленной весом жизни, чтоб и во тьме она тебе светила, если больше нечему.

Я сколько угодно могу изгаляться над слабостями своего народа, если бы одновременно не работал во мне процесс удовольствия постижения его тайны. И того всемирного удивления, какое мы вызываем у народов менее изысканных по составу молекул. В один и тот же день, когда нам показали побежденные до основания Самашки, – что ни говори, упоительная победа! – мы увидели и другое: французские вышивальщицы на белоснежном полотне наволочек нежной кириллицей – для нас! – иголкой выковыривали слова «Спокойной ночи!». В один и тот же день мы являли миру наше непобедимое умение спать на сырой земле и укрываться чувалом (Самашки) и жажду чего-то невообразимо красивого.

Я понимаю, что разные головы припадали к земле и подушке в этих двух случаях, но это были русские головы, что называется, из одной и той же школы, с одной и той же улицы.

Не однажды их постигает великое разочарование во всеобщем мироустройстве. Такое уже с народом бывало и раньше. И в этот раз замечательный с виду был строй, так радостно во все стороны дымили трубы, так справедливо делили

тебе половину, а мне – вторую, но настал момент усталости человеческого металла, и котлован счастья пришлось срочно засыпать... Остается вопрос. Куда делось разочарование? Я принципиально не хочу прыгать в глубину этого трагического чувства, оно велико. И мне не вынырнуть из него. Я – про мастериц, в которых вдруг откликнулось великое пролетарское разочарование. И они стали вышивать этому народу непонятные им слова. Другие же, обористые, стали рисовать гербы и символы крепости рода, которые как бы выпрямляли разочарованного человека, давали ему новый ключ: ищи, голубчик Буратино, деревянная твоя башка, свою дверь в стене, ищи. Маленькую и железную. Может, и вскрыешь.

В это же время бомбили Самашки.

Я к тому, что хотя клев Ольги на что-то эдакое и показался мне идиотским, но снисхождения и понимания он у меня заслуживал. Ра-зо-ча-ро-ва-ние. Ну все в ее жизни было, все! Маркиза – скажем! – не было.

Бабулька – ах, как она мне дорога! – то ли приехала к месту, то ли вышла по малой нужде цистита. Рядом никто не сел, и Ольга распласталась вольно, не вбирая тело в тугую кучку, не выстраивая ноги строго по линии красоты. Она их даже слегка расставила, ощущая радость

освобождения. Обиженно треснула по шву узенькая юбочка для молоденькой барышни, которую Ольга побеждала как классового врага. «Выброшу к чертовой матери!» – подумала она о юбке теперь. Конечно, есть дочь, но зачем дочери знать степень поражения матери, когда дорогая фирменная вещь ей не в кайф, а ведь как радовалась, когда влезла и поняла, что три килограмма сбросить ей не стоит ничего, зато вид – уйди-вырвусь!

Дочерям информацию про себя надо выдавать дозированно. Даже не так. Выдавать надо положительную, даже с любым прибрехом. Ольга сидела возле сквозной двери. В соседнем вагоне тоже было пустовато. Люди укачивались, отдаваясь движению, некоторые задремывали. Через два стекла от нее спал с открытым ртом Федор. Один из немаркизов ее жизни.

«Изо рта определенно разит», – подумала она. Но что поделать с этим русским национальным чувством, – торкнулась в расслабленном теле жалость не жалость, сочувствие не сочувствие, одним словом, нечто-нечтное. Не-опознанный летающий вирус внедрился в Ольгу и пошел делиться, как полоумный, без оглядки по сторонам. От этих простейших, не видимые простым глазом, – вся наша погибель. Если не сейчас, то потом.

Федор

...Первое воспоминание жизни – воспоминание о мальчике, который пишет ей на ноги. Потрясение от совершенного, в отличие от ее, приспособления, делающего это дело, оглушительный гнев, что у нее не так, ор, рев, мальчика уносят, ее уносят тоже и грубо бросают на спину, чтоб стянуть мокрые чулочки. Потом ничего-ничего, и снова мальчик, который ездит на велосипеде туда-сюда по коридору. У нее нет велосипеда, и она снова кричит, и получается, что Федор вошел в ее жизнь чувством завистливого гнева. Но это сейчас так можно сформулировать. Взрослый ум обращается с фактами вольно, он их тасует, он от них освобождается, он их подменяет, одним словом, полагаясь на ум, ты полагаешься на вещь не безусловно точную – ум химичит будь здоров. А тогда, в детстве, ничего подобного быть не могло. Слезы непринужденно переходили в смех, зависть – в подельчивость, они прожили с Федькой долгую счастливую коридорную жизнь, сейчас вспоминаешь – одна радость. Хорошее надо держать в резервации, и холить его, и нежить. Высаживать хорошее в грунт жизни – дело глупое и бесполезное. Хорошее до ничего растворяется в жизненной массе, оно не дает чистых побегов, оно забывает себя, оно доверчиво притуливается к чему ни попадя, глядишь – у него уже и лицо не то, и

походка, и пахнет оно дерьмецом, а с таких начиналось фиалок!

Через много лет, встретившись после детства с Федором, Ольга с порога кинулась понимать и любить его, как тогда, раньше... И чем кончилось?

У Федора была мама, которая осталась в памяти съемным сиденьем для унитаза, зажатым под мышкой. Мама выхаживала по коридору туда-сюда, такая опрятная, подтянутая дама. «Ей бы веер из перьев в руки, а не этот деревянный круг», – думала уже впоследствии Ольга, когда прошлое стало распадаться на отдельные части, и эти части несли в себе нечто противоположное друг другу, тогда как не в распадке оно, прошлое, являло собой вполне цельное целое.

Мама Федора звала сына Тедди, сама называлась Луизой Францевной, тем, что была из немок, гордилась, а это было время, когда от войны мы отъехали совсем недалеко и народ еще люто ненавидел фрицев и не признавал за немцем право быть гордым, поэтому можно себе представить общий коммунальный настрой. Но все обходилось! Вот в чем главный результат – все обходилось без тяжелых для квартиры последствий. И гордая немка, и во всем виноватые евреи, и лишенные всяких национальных амбиций великороссы, и примкнувшие к ним со своей украинской спесью

хохлы, и имеющие задний ум татары, и пылкий осетин-чечеточник – все они в некую минуту разбивали в сердцах лампочку Ильича на кухне, опрокидывали со стены велосипед, сдергивали с веревки белье ближнего врага данной минуты, а потом замирялись, сплачиваясь на объединяющих всех нелюбви к врагам дальним – американцам там или безродным космополитам. К евреям, само собой. Ольге приятно было думать, что ее коммуналка «не сдала никого». Что Михаил Ваныч Тришин, исполняя в их братстве определенные обязанности, ограничивался строгими беседами в неработающей ванной, приспособленной жильцами для склада вышедших на пенсию вещей. Ваныч включал свет в уборной, и под сенью желто-светящегося окошка – в бывшей ванной сроду не было лампочки – вел свой сущностный разговор, а мог ведь и не вести, но он предпочитал жечь электричество, чем «жечь человека»...

Все это давало основание Ольге уже в другие времена защищать свой народ от излишних поклепов. Не будь достаточного количества Ванычей, кричала она, интуитивно переходя к философским категориям необходимого и достаточного, народа не было бы вообще. Но он есть, следовательно... «Не каждый второй сволочь, и даже не каждый третий там или пятый... Нас в квартире было двадцать семь человек, и все

выжили». Тут Ольга лукавила, ибо вела только послевоенный счет: до войны в коммуналке жили сорок два человека. Но вправе ли мы судить то, чего не видели, вернее, не так... Если мы не судим то, что не видели, наша совесть вполне может не исторгать крика. Ее там не было.

Все это к тому, что Луиза Францевна существовала в квартире защищенно, хотя любима не была. А вот Тедди был обожаем, ему за красоту и детскую лукавость прощалось практически все. И самым большим горем детства Ольги было получение их семьей отдельной квартиры. Мама тогда уже начала болеть, у нее было какое-то редкое заболевание, при котором в организме постепенно умирает все. Такой была медицинская справка! Папе одному из первых на заводе дали на основании ее отдельную квартиру. Ольга цеплялась за дверной косяк и кричала благим матом, не желая покидать старую комнату, и народ смотрел на нее как на ненормальную. Поглощенные естественным чувством зависти к такому счастью, как отдельная и практически недостижимая квартира, люди были даже раздражены криком девочки, и кто-то сказал: «Ишь какая растет артистка!», имея в виду, что Ольга нарочно закатила концерт прощания, а на самом-то деле тоже внутри себя рада, но придуряется, «дает гастроль».

— Подари Олечке что-нибудь на память, —

сказала Луиза Францевна сыну.

Сиденье от унитаза уютно пряталось у нее под мышкой, как ему и полагалось, и вообще все люди были, как всегда, замечательно привычными, только вот в семье Оли случилось горе отличия. Мама в летнюю пору стояла в зимнем пальто, спинки кровати были связаны рваными детскими чулочками, в выварке лежала завернутая в мамину юбку хрустальная люстра. «Единственный дорогой предмет» – так говорила мама.

Пришел лучезарный Тедди и вручил Оле безухого слона. «На всю жизнь», – сказал он ей. Она его выкинула через десять лет, после встречи на городской комсомольской конференции. Тот день пометил всю ее жизнь цветом боли и ненависти. Слон радости в ней уже не помещался.

Надо же! Это был первый год без папы. Она потом думала, случайно или нет произошло так, что уход папы, любимого, драгоценного мужчины в доме, ознаменовал окончательное отсутствие порядочных мужиков. И вообще, и в ее жизни. Папа как бы вывел за собой всю приличную рать но тогда что за жестокость с его стороны? Или она сама, рать, – хорошие дядьки, – кинулась сломя голову в возникшую с уходом папы брешь, ушла за заводилой? Но это более поздние Ольгины мысли. Тогда была просто постоянная печаль. Острота горя прошла, как ни странно, довольно быстро, а вот

печаль с утра до вечера растянулась, считай, на всю жизнь.

Значит, комсомольская конференция. Это уже потом, потом... У мамы тогда был хороший период, и она сама пошла в булочную и галантерею. Галантерея была на втором этаже, и мама стеснялась медленно карабкаться по ступенькам, вцепившись в перила. Но так хотелось добрести до парфюмерии и попялиться на разные разности, вот тогда она и высмотрела в соседнем отсеке кружевце, тонюсенькое, белюсенькое и с загибом кончиков. Мама купила его для Ольгиной формы, под шейку и на рукава. И именно на конференцию эту красоту пришила. Оля понравилась себе, что-то было в ней, что-то было в кружавчиках, во всяком случае, в груди ее возник радостный холодок впервые после смерти папы.

В фойе дворца, куда они все собрались, ее дернул за рукав здоровенный парень, она отпрянула, потому что не признавала этой манеры – дергать себя чужими руками, а парень возьми и скажи:

– Если ты не Олька, то тогда извини.

Странный подход. Она – Олька, и именно она это извинить не может, но ее остановили его слова, что-то давнее и хорошее настигло и сказало: сообрази своей головой, дура. И голова сообразила.

– Тедди! – закричала она тоненько.

– Замолкни, – засмеялся Тедди, – я Федя, Феденька, Федюнчик.

Они ходили по фойе едва не в обнимку, вернее, совсем в обнимку, иначе с чего бы этой вожатой ее школы зашипеть ей в ухо: «Ты думаешь, как себя ведешь?» А как она себя вела?

Но оказалось все не так просто. Потому как в обнимку с Федей ее увидел и инструктор райкома Юрий Петрович, и у него возникли, можно сказать, законные основания пригласить ее после говорящей части конференции в штаб и защелкнуть за собой дверь.

– Ходит такая цыпочка-давалочка – и мимо меня, – говорил он, закидывая ей подол на голову.

Он легко закинулся, подол, мама гордилась кроем юбки Ольгиной формы-двенадцатиклинка – уже и забыли, что это такое, а мама хранила выкройку своей мамы еще из довойны. Трухлявая такая выкройка, сто раз подклеенная, но маме очень дорогая. Знала бы ты, мамочка...

Пока она давилась собственной юбкой, стесняясь не то что крикнуть, а просто подать по-собачьи голос, Юрий Петрович царапал ей кожу плохо остриженными ногтями. Вместо того чтобы двинуть его коленкой, Ольга тупо размышляла о том, что это правда: быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. И еще ее посетили другие странные мысли – нет ли у нее

дурного запаха, – в общем, ее рвали, терзали, а она кусала кружавчики и думала черт знает о чем, отчего потом и была десять лет в ступоре, так как считала: она тогда не сопротивлялась, значит, как бы дала согласие. Разрешила. Правда, медицинское обследование обнаружило совсем другое: при согласии не бывает множественных травм, вплоть до прикушенного до крови языка, к которому прилипли белые нитки кружева.

Но об этом как-нибудь потом... Мы ведь сейчас о Федоре. Его тогда вызывали в милицию, так как именно на него показала вожатая. Вечером к ним в дом влетела Луиза Францевна, а они с мамой были как замороженные. Ольга не могла сразу, как теперь говорят, врубиться в Луизу Францевну, кто она и зачем, а когда поняла, спросила: «А где ваш... этот... стульчак?» Тут уже все пошло до самых небес! И пока Луиза Францевна орала на маму – разве можно было сообразить такое, если выдвинуть из прошлого старый ее образ, – в Ольге проклюнулась и стала расцветать «лилия подлости». Почему лилия? Но Ольге думалось так: во мне расцветает «лилия подлости». Просто в какой-то миг крика Францевны и стекленения глаз мамы Ольга решила: «А пусть это будет Тедди! Пусть будет он!» Так радостно было уничтожить кого-то, зацарапать уже своими ногтями, натянуть что-нибудь на чужую

голову, пусть сволоочь давится, пусть! А потом – голым на мороз...

Но тут Луиза Францевна выкричалась и опала. Из нее, опавшей, стали выходить другие слова, Ольга даже сразу не сообразила, что гордая немка, в сущности, допускает, что это мог быть Тедя-Федя, что она готова нести возмещение ущерба, просто им – Ольге и маме – надо помнить, что она женщина бедная. Мама совсем перестала соображать, а Ольга вдруг увидела, что у нее засохла к чертовой матери «лилия подлости», что ей уже жалко этого ни в чем не виноватого Федьку, которого эта дура без стульчака готова женить на Ольге, «раз уж так получилось»... Это третье превращение Луизы Францевны – в возможную свекровь – Ольга пропустила, потому что наблюдала за «лилией подлости», за ее усыханием, а когда увидела, как мама Федьки тянет ручонки к ее маме с криком: «Не погубите!», окончательно пришла в себя и сказала четко, что ей это все надоело до чертиков, что Федька тут ни при чем, что она не отвечает за милицию – кого та вызывает, а кого нет, – Федьке привет и идите вы своей дорогой к такой-то матери.

Луизе Францевне, сыгравшей во всем этом спектакле целых три характера, было трудно выйти из образов, и она еще какое-то время впадала то в один, то в другой. Ушла же она в полуобморочном

состоянии, все-таки силы были потрачены немалые, но так как собственная Олина мама была тоже в этом же состоянии, то выбирать не приходилось: Луизу Францевну утешать и отпаивать Ольга не стала.

Милиция насильника так и не нашла, хотя долго ходила с сосредоточенной мордой. То время еще делало вид, что у него системы фурычат и насильники ловятся.

Однажды Федор встретил ее возле школы.

– Ты живая? – спросил он.

Никогда в жизни, никогда не было у нее такого острого желания кинуться на мужскую грудь и пусть даже разбиться. Но так близко была школа и так возможна была у окна страж-вожатая, что Ольга сделала все наоборот.

– А пошел ты... – процедила она сквозь зубы. И почему-то добавила: – Немецкая твоя морда...

Эту историю Ольга рассказывала довольно часто, и будь она постарше, мысль о раннем склерозе не была бы неуместной. А уж о каком-то особом свойстве памяти – тем более. Причуд ведь на свете куча мала. У меня есть приятель, у которого тоже «заедает память».

Рассказываю по случаю, потому что «немецкая морда» Ольги временами меня доставала.

Так вот приятель. Приходит, садится, будто радуется встрече. Ждет вопросов о себе. Это, в конце концов, неизбежно: ведь он для того и пришел, чтоб рассказать о себе. Политика там, Пушкин или эмиссия денег иссякают мгновенно. Пушкин – потому, что сколь же можно. Товары, цены и русский демократизм – по причине их низкости для нашей встречи.

– Ну как твои дела? – обреченно спрашиваю я.

– Был у главного... Спрашиваю... Когда будете платить? Тот стоит, смотрит в окно. «Последняя туча рассеянной бури... – говорит. А потом: – Зарплата? Но ты же голосовал за Ельцина? За этот порядок? Иди, он подаст...»

Приятель громко смеется, и изо рта его летят крошки и брызги, я отслеживаю их полет, чтобы потом пройтись по ним тряпкой.

– ...Последняя туча рассеянной бури? Зарплата? Ты же голосовал за Ельцина?

И снова обвал изо рта, в котором дрожит мощный, в рытвинах язык. Я беру тряпку.

– ...Последняя туча рассеянной бури? – радостно кричит он в третий раз, а я знаю: будет четвертый и пятый, до бесконечности... Его надо обрубить или заткнуть ему рот этой самой тряпкой, но я такая в этот момент медленная, такая осевшая на дно... Ну, в общем, в конце концов я встряхиваюсь и начинаю вытирать стол.

– Как здоровье жены? – внедряюсь я в тучу, зарплату и Ельцина. Приятель адекватен, мы непринужденно переходим к жене, будто только что не крутились в воронке.

Я рассказываю этот случай как еще один признак нашей болезни – скрытого паралича, который давно в нас поселился и водит по кругу мыслей ли, поступков... Так и живем...

Вот и Ольга сто семнадцать раз рассказывала мне, как обозвала Федора «немецкой мордой».

На этом все и кончилось в тот период времени, когда была жива еще ее мама, когда существовали неотъемлемой частью школы пионервожатые, многие из них были причудливыми существами, сотканными из необразованности, энтузиазма и практически обязательного гормонального дисбаланса или как там назвать это их пребывание в некоем усредненном, как правило, роде.

Ольга тогда почти десять лет жила с ощущением, что умрет от одного прикосновения мужчины. «Немецкая морда» обрубил в ней женское желание «припасть» – или как это называется? – к другой природе.

В эти годы у мамы сильно обострилась болезнь. При отце Ольга не подозревала, что у всякой болезни большой спектр составных. Что аптека, лекарства, градусник и мокрое полотенце на

голову – бутончики болезни, за которыми след в след идут пеленки, прокладки, судна. Что все это плохо пахнет и еще хуже выветривается. При папе она этого не знала, теперь же этому надо было учиться. Тут надо сказать одну вещь. Живи Ольга нормальной, не изнасилованной жизнью, еще неизвестно, как бы у нее получилось с маминой болезнью. Ведь у очень многих не получается. Родных матушек скидывают в богадельни по причине аммиачных паров не с ощущением разрыва сердца, а с полным сознанием, что с парами жить нельзя, а значит, правильно скинуть родительницу.

Я иногда в транспорте разглядываю людей с этой точки зрения: способен ли он или она ухаживать за близким? Не за чужим, а именно за своим – очень близким?

Ах, как неутешительно выглядит картина, хотя и не без случаев попадания пальцем в небо.

...Еду в долгом трамвае. Вламывается пьяная тетка. Остановившись посередине, она внимательно смотрит на нас всех, и мы ей не нравимся.

– Сволочи! – говорит она нам. – Суки вы! Сели и едут... Ишь, с дитями... Рожают... бляди... Я щас вас всех проверю... На вшивость! Снимайте, гады, шляпы! Буду считать гниды...

Она примеряется к ближайшей женщине, та начинает орать, за ней – другие, и выясняется, что

это – наш ор – и было целью пьяной бабы. Она просто заходится от восторга, видя наши рты и глаза. Она просто радостно приседает от зрелища нас. Все так поглощены собственным возмущением, что она почти незаметно выскакивает из трамвая, а мы еще долго толчем тему «пьяных стерв», из-за которых мы недосчитываем на ниве жизни Толстых и Чеховых, каждый из нас на ничтожности этой тетки становится выше, лучше. Не все ли равно, что подставить себе под ноги, чтоб взорлить? И тут в транспортном заторе, пока трамвай стоит, к нам по-домашнему, как из соседней комнаты, выходит водитель, тоже простая тетка, в теплом исподнем, торчащем из-под юбки на случай сквозняков из передней двери.

– Разъявили варежки! – говорит она со странной беззлобной ненавистью.

Ненависть эта изначальна. Она как числитель жизни, крупный такой числитель, не два плюс три. И делится этот числитель на некий знаменатель икс – то ли на количество народа в стране, то ли на дни в году, а может, вообще на число, которому еще не назначили имя. В результате деления и рождается, вернее, не рождается, а выпадает в сухой осадок экстракт злобы. Чистое вещество.

– Орете тут! – говорит водительница нам. – А эта пьяная из конца в конец три раза в неделю ездит

к парализованной подруге убирать и убираться, потому как трезвые родственники ее бросили, а подруга осталась. Она после ее говнов обязательно напивается. Туда едет тихая, смиренная, а назад – буйнит...

Отдаю себе полный отчет: я тоже не мать Тереза...

Ольга же... Ольга... В свои шестнадцать она приняла на себя и боль, и аммиачные пары, и все вытекающее, и было это у нее естественно, как и должно быть у людей хороших. Но ничего сподвижнического на ее лице сроду бы никто не прочел. Я видела ее фотографии тех лет. Сцепленные губы, холодные глаза и обхват себя руками. Странная жесткая поза. Уже потом Ольга сама нет-нет, а вспомнит какие-то знаки судьбы, которые были уже тогда. Знаки судьбы женщины – это знаки мужчин. Казалось, ничего подобного в смысле интереса умственного или там физического и близко не было, но знаки были.

– Были, – говорила она мне. – Еще какие! Однажды иду по улице, а я ходила всегда очень быстро, без этой манеры вразвалочку, откуда у меня время! И вот иду, а под ноги мне летит мяч, детский. Я его взяла рукой, не стала пинать, рядом дорога. Взяла и оглядываюсь... И вдруг понимаю, что никого нет... Никаких детей... А я чего-то

стою, жду... Проехал какой-то парень на велосипеде... Кто-то снизу, под согнутый локоть, на меня посмотрел. Я подумала: «Боже мой!» И все. Положила мяч возле урны и пошла, а это «Боже мой!» душу ломит, ломит... Я его лица не видела. Он же меня перегонял, просто взгляд под локоть на дуру, что стоит с детским мячом.

Скажете: в коконе трепыхалась женщина, нормальные дела. Конечно, нормальные, какие же еще? Но и ненормальные тоже.

За ней стал ухаживать пожилой человек...

Семен Евсеич

Сосед по площадке случился в результате обменов. Рядом жила колготливая женщина, стремящаяся к совершенству места жительства. Она хотела иметь «окна на церковь» и «утопать в деревьях». В конце концов она где-то «утопла», а рядом появился старый – лет около сорока – еврей с нездоровой мамой. Параллелизм обратил на себя внимание, хотя еврейская мама была еще вполне сохраняющая и регулярно ходила «в концерты».

Они, Семен Евсеич и Ольга, смущаясь, вешали на архитектурно объединенном балконе женские причиндалы, и он сказал, что его маме пять лет тому сделали операцию на сердце, это большой срок, и теперь «дело как бы... Вы

понимаете?.. Времени чуть. У вас самой тоже тяжелый случай...» Они стряхивали с маминых рейтуз капли воды и цепляли их прищепками.

Ольгу почему-то охватил нервный озноб. «С головы до ног, – говорила она. – А косточка на мизинце почему-то встала дыбом. Это ты не поверишь... Но он, мизинец, как бы поднялся... Восстал... Когда я теперь слышу, как говорят: „Сравнил жопу с пальцем“, я не смеюсь ни на миг. Так бывает. На свете бывает все!»

Семен же Евсеич на Ольгу обратил внимание по-глубокому. Его можно было понять. Из-за больной мамы в мужья он не ходил ни разу. Он был хороший еврейский сын. Одновременно он был и математик по профессии. На работе в столе у него лежала «кривая его собственной жизни». Кривая – это грубо. Лучше сказать – «изобара». Можно даже сказать это с большой буквы. Как испанское имя. Так вот, на ней, на этой «кривой Изобаре», мамина жизнь неумолимо кончалась, но его жизнь, жизнь Семена Евсеича, тоже переставала плавно подниматься вверх, а как бы начинала неуправляемое скольжение вниз. Еще не рывком, не обвалом, но тем не менее. Семен Евсеич знал о роли женщины в жизни мужчины и даже о роли молодой женщины в жизни мужчины с «падающей Изобарой».

Ольга была шансом, который трудно

переоценить. Общий балкон, практическая привязанность к дому, как и у него, и великолепная перспектива ломануть стену между квартирами. «И даже пусть они живут», – великодушно решил Семен Евсеич о болящих матерях.

Ольга дома повозилась с мизинцем, пока не положила его на место. Но с этой минуты в ее сердце стало раскручиваться отвращение к Семену Евсеичу. Странная вещь! Все достоинства соседа: стирка женских трусов, аккуратное вынесение мусора, опрятность квартиры и половика перед дверью – все легло как бы поперек сознания Ольги. И тем сильнее, чем активней шло ухаживание: «я купил вам говяжьё печенье, с вас рубль шестьдесят, но не берите в голову, отдадите потом», «я и на вас захватил хлопковую вату, взяли манеру делать ее из химии, а она же близко к телу и вызывает аллергию», «я починил вам почтовый ящик, вы видели, как эти негодяи подростки покривили у вас дверцу?» – и так далее до бесконечности помощь в мелких, средних и крупных домашних делах, когда надо передвинуть мебель или навесить шкафчик в кухне.

Семен Евсеич действовал способом захвата жизненного пространства вокруг Ольги. Чтоб куда она ни оглянулась, а он уже был, он уже занимал там место. Это была великая и, можно сказать, беспрюирышная стратегия. В конце концов

чему-чему, а искусству захвата чужого нас учили хорошо.

А однажды мама сказала Ольге, что евреи – самые лучшие мужья на свете и это, мол, известно всем.

– Ты к чему? – спросила Ольга, потому что ей и в дурном сне не могло присниться, что говяжья печенка и выправленный почтовый ящик значат больше самих себя.

– Я была в этом смысле полная дура, – говорила Ольга. – Он мне был неприятен этой своей угодливо-стью, но я себя корила, что плохо отношусь к хорошему. И еще... Мне всегда было стыдно за антисемитизм наших людей. Я могла за него бить морду, поэтому, если мне не нравился отдельный еврей, я делила это свое отношение на два, на четыре, на шесть, на восемь. Делила, а не множила, понимаешь? Я потом поняла, что это тоже стыдно по отношению к тем же чукчам. Но я так медленно развивалась!

Одним словом, вязь добрососедства тянулась и тянулась, больные мамы пили общие чаи, но тут стали вспухать первые случаи эмиграции. И Семен Евсеич одним из первых получил вызов откуда надо. И с ним письмо от дальних, но действительных родственников, которые обещали маме еще одну сердечную операцию и всякие другие радости медицины.

Трудно бросать завоеванное. Все-таки так много было потрачено сил и даже обстукана стена легким молоточком на предмет проверки пролегания в ней электрических проводов. Семен Евсеич надел вельветовый пиджак, редкость по тем временам, и пришел к Ольге с глобальным разговором.

– Если б ты знала, как я захотела уехать, – рассказывала она мне. – Я не слышала, что он там лопотал, я просто замерла от мысли, что можно все это послать к ебенематери и начать как бы заново родившись. Я и в мыслях не допускала, что можно уехать без мамы. Я, значит, замерла, а потом поняла суть. Маму он предлагал взять потом. Когда мы там пустим корни, а пока... Ну, дальше у него был вычерченный план по времени и месту. Маму примут за квартиру в хорошую богадельню с обслуживанием. Телевизор, холодильник у него были наиновейшие – все это ей в богадельню... плюс библиотека поэзии, плюс ковер три на четыре и прочая, прочая... Представляешь? А мне так хочется уехать! Так хочется! Ну просто спазм, и все тут! Даже ощущение, что уже лечу и что свободна, что как птица и что ни одна нитка ко мне из прошлого не прилипла. Миг сладкой мечты... А потом – крупная реализация действительности... Вельветовый пиджак там и прочая. Знаешь, какая была вежливая? Как ангел у входа в рай... Они там

ведь вежливые, как считаешь? Или праведники тоже могут надоесть до чертиков? Могут! Могут! Я представила, как они недуром прут... Которые хорошие... Все такие на постном масле, с защитыми гениталиями, чтоб ненароком не проявились... Но я была вежлива, это точно. Я поблагодарила и сказала, что как он никогда бы не бросил свою маму, так и я учусь у него жить... В таком духе. Он сказал, что еще не вечер – а это правда был день – и он вернется к разговору. Но он не вернулся. Никогда больше...

Много позже я сказала ей:

– Не с этого ли случая ты начала торить дорогу за границу, будто бы за парфюмом, а на самом деле...

Ольга посмотрела серьезно, а потом покачала головой:

– Нет. Ни разу в Польше никакого желания остаться там навсегда не возникало. Но это же понятно... когда торгуешь утюгами, какие могут быть мысли? Утюжки... И вообще, Польша – продолжение отечества и всего с ним связанного.

– Даже на слове «шляхтич» не западала? У меня, например, от него в душе радостный щекоток...

– Ты украинка. Какую-нибудь твою прабабку трахнул поганый лях. В тебе живет воспоминание

удовольствия. А я баба русская, у меня другие манки.

Федор

То было время осенних посылов на овощные базы. В тот раз отдирали верхний гнилой капустный лист. Кочаны хряпали в руках, оклизлые, вонючие, а потом вдруг раз – делались беленькими, крепенькими, и возникало даже удовольствие, вроде ты сам рождал капусту. Правда, сплошь и рядом случалось, что чистенькие бурты, не востребованные жизнью, снова начинали чернеть, мокнуть и вонять, и тогда приходили новые люди и снова обдирали кочан, и бывало, еще что-то оставалось на кочерыжке для следующего захода. Это называлось «всенародной помощью в решении продовольственной проблемы».

А однажды по зелено-черной жиже прошел Федор – «немецкая морда». Он был в высоких резиновых сапогах под самое, самое то место, и это выглядело классно, несмотря, так сказать, на окружающую действительность. При небольшом усилии можно было вообразить, что носитель высоких сапог не инженер-оборонщик на поприще социалистического добывания продуктов, а некий рыбак-поморец, идущий к своему баркасу там или шлюпу, в котором серебряно выгибает спину

красавица рыба для красавицы жены. Белое море, белая рыба и белое тело женщины. Петров-Водкин. Альбинос.

Сапоги остановились рядышком. Невозможно было не поднять голову на эту картину. То ли потому, что у нее случилась острая эмоциональная реакция на резиновые отвороты, которые существовали выше ее, сидящей на овощной тарелке типа ящик, но сразу вспомнилось то чувство, когда она так хотела удариться о мужскую грудь... Опять же, и теперь ноги Федора вызывали совсем не духовные желания. Что не удивительно. Ведь в сапогах шел не любимый писатель Ольги Юрий Трифонов, которого она только что переплела, вырвав из «Нового мира». Шел бы Трифонов – у нее случилось бы смятение в голове. А шел Федор – смятение было другого рода. Поэтому хамство как способ защиты от себя самой было уже за зубами и возбуждало язык, но нельзя же, в конце концов, бездарно повторять саму себя?

– Привет! – сказала она обреченно.

– Ну и слава Богу! – ответил Федор. – А то я иду и думаю: как ты меня обзовешь в этот раз?

Он вырыл из листьев еще один грязный ящик и осторожно присел на него.

– Развалится или нет? – спросил он.

– Сижу... ничего, – ответила Ольга.

Федор по-хозяйски общупал ее глазом.

Скукоженная девка в «базной одежде». Так он должен был подумать – так он и подумал, а Ольга, как она потом сказала, «проинтуичила его впечатление».

– Ох как я разозлилась! – говорила она. – Он был одет классно, а я черт-те в чем. В маминых, считай, военных обносках. А у нас бабы специально для базы купили в «Детском мире» яркие ветровочки из болоньи. Там же мужиков было навалом, и главное – из очень приличных институтов. Там были интеллигентские сливки... Но у меня даже на детский товар тогда лишних денег не было.

Федор рассказал, что два года как женат. Жена однокурсница, из Уфы.

– Можешь смеяться, – сказал он. – Она башкирская морда.

Значит, он действительно помнил тот случай. Злопамятный.

– Восточная красотка, – с нежностью добавил он, – из выточенных по кости. Отец у нее большой босс, так что у нас хорошая квартира, а моя мама живет там же, по месту нашего с тобой рождения.

– Дети есть? – спросила Ольга.

– Будут, – ответил Федор.

– В смысле – жена беременная? – уточнила Ольга.

– В смысле хотим этого, – засмеялся Федор.

– Рада за тебя, – уныло ответила Ольга и быстро добавила: – Я не замужем, не беременная, живу с мамой на старом месте.

– Почему? – печально спросил Федор.

– Почему на старом месте?

– Почему такая красотка не замужем? Куда смотрят мужики-идиоты?

Что-то у нее в душе развязалось и отомкнулось, но ей стало как-то легко и спокойно, и она посмотрела на Федора прямо и увидела его глаза, большие, серые, сочувствующие, но не оскорбилась чужой жалостью, а приняла ее как дружбу, как протянутую руку и даже немножечко как любовь.

– Я сама определила все словом «немножечко». Могла другим, но у меня тогда была до пола занижена самооценка.

В тот год был невиданный урожай капусты. Это было очередное бедствие для страны. Капуста гнила, разлагалась, овощные базы требовали ученых и студентов, хряпали в их руках кочаны, так и не узнав, для чего кучно наливались на природе. Именно в тот год капусты в стране хватило едва до марта, подтверждая главный тезис социализма: при нем все может быть бедствием, а урожай особенно.

Их капустный роман был страстным, нежным и обреченным. Они были как спустившиеся с разных гор туземцы, которым надлежало вернуться

точно ко времени к своим народам. Вопрос об «остаться» как бы и не возникал, даже на уровне идеи. Просто случилось то самое «немножко».

Был некий казус. Ольга оказалась девственницей. В тот ее трагический случай она была прилично травмирована, и щедрые врачи заштопали ее, что называется, до основания, гордясь собой, но сказать Ольге об этом забыли или не посчитали нужным, а может, сказали маме, а она постеснялась передать Ольге – поди разберись сейчас с этой старой и уже никому не интересной пришитой девственностью.

Но Федора этот деликатный момент несколько обескуражил: за что его тогда таскали по милициям? К тому же Ольге как-никак двадцать четыре года, странновато все это, чтоб не сказать больше... С другой же стороны, у Федора возникло и некоторое чувство удовлетворения деятельностью первопроходца или кого там еще...

Ольга была смущена другим. В свое время она всерьез была заморочена мыслью, что ей придется когда-то перед кем-то «объясняться». Это отравило ей всю раннюю юность, когда она думала о себе как о человеке порченом. Получается, зря морочила себе голову. Но, в общем, они потом с Федором обсмеяли эту историю, и он был и остался единственным мужчиной, которому она рассказала, как тогда все было... Из женщин была я.

Юрий Петрович

Классный парень был, классный!

Потом она поняла, что находилась под впечатлением общественного мнения. Он был, так сказать, назначенным любимцем. Конечно, интересен первый вскрик по этому поводу, но поди вычлени его теперь из всего. Но еще до вступления в комсомол Ольга знала: в райкоме такой инструктор, что одна десятиклассница из-за него чуть не отравилась – выпила какую-то гадость, но, слава Богу, гадость оказалась слабее жизни. Потом, после всего, у Ольги было непреодолимое желание найти ту дуру и узнать, что с нею случилось на самом деле и отчего она пила некачественный уксус. Нашла. Дура работала в паспортном отделе, поэтому Ольга просто-напросто набрела на нее, когда пришла пора получать паспорт. Дура была крашена так, что хотелось или отвернуться, или хотя бы прикрыть глаза, потому что возникало чувство сверхвпечатления. Это «сверх» почему-то сразу освободило Ольгу от желания что-то узнавать, выспрашивать. Что бы там ни было на самом деле с этой сверхдевицей, Ольге стало безразлично, скучно, ее состояние души не могло пересекаться с состоянием души крашеной. Не могло – и все. Ольга заполнила нужные бланки и

ушла. Когда уже была в дверях, услышала: «А эта пионеруважатая еще работает?» – «Работает», – ответила Ольга. «Вот сука». Разве не повод для продолжения – или начала? – разговора! Ольга ведь теми же словами думала о вожатой! Но инерция отторжения, случившаяся с начала встречи, оказалась сильнее. Ольга потопталась у двери и ушла.

Надо начать с того, что на эту самую долбанную конференцию Ольга не должна была попасть по причине своего индифферентного отношения к общественной деятельности. Ей было не до нее, мама тогда была совсем плоха, и однажды Ольга вдруг ясно увидела, что мамы может не стать. Она тогда отодвинула локтем школьные дела и столбиком подсчитала, на что ей придется жить. Достраивалась однокомнатная кооперативная квартира «для нее». Подумалось, что надо будет от нее отказаться, вернуть сумасшедший пай – шестьсот рублей – и разделить его на полтора года, чтоб кончить школу. «Вот эти деньги столбиком, – рассказывала потом Ольга, – были моим первым экономическим образованием. Я не считала себя бедной, как церковная мышь... Отнюдь, как сказал бы теперь сын Тимура. Но ощущение собственной жалкости откуда-то взялось. Не от возможного голодания, а от самого столбика арифметики».

Она была поглощена этим возможным будущим одиночеством и еще странным открытием: трудные случаи из жизни других ей не помогают. Несчастье других в прошлом и настоящем, вот это «посмотри на них», ее не утешает. «Я открыла в себе эгоизм волка. И сказала: я одна себе друг, товарищ и брат. Ты же помнишь, как это висело на всех стенах: „Человек человеку...“ А я, тогда еще маленькая дурочка, почувствовала: что-то тут не то... Какая-то излишность... Мы же народ с перебором...»

Так вот, она тогда была поглощена всем этим, а ее – звериную эгоистку – взяли и послали на конференцию. Было школьное собрание, чего-то там провозглашали, сидел в президиуме Юрий Петрович и шупал девчонок глазом, рядом с ним мелко суетилась вожатая. А когда все кончилось, Ольга ни с того ни с сего оказалась в списке делегатов. Почему-то этому обрадовалась мама, даже на ноги встала и купила в галантерее кружавчики.

Она хорошо помнит, как после конференции глашатаи скликали разные группы делегатов и все сбивались в цветастые кучки по интересам. Но у Ольги на этом празднике энтузиазма интереса не было. Она уже собиралась уходить, но хотела высмотреть Федора, когда возник перед ней Юрий Петрович.

– Ну как? – сказал он. – Ищешь своего друга?

Такое мнение было ей совсем ни к чему! Она Тедди сто лет не знала, какой он ей друг?

– Да вы что? – закричала она. – Мы ж из одной квартиры!

– У! – ответил Юрий Петрович. – У! Мы все из одной квартиры! Мы все одна большая семья! – И он взял ее за локоток и повел. Они шли мимо каких-то стендов и прислоненных к стене транспарантов, обвисших без натяжения руками и ветром, в красном материале призывов и лозунгов мелькнуло лицо вожатой. Ольге показалось, что вожатая ее ненавидит. Стало почему-то еще обидней.

Юрий Петрович открыл дверь, на которой было написано «Штаб». Это была странная комната-сейф, зарешеченная и даже как бы с металлическими стенами. Замок за спиной щелкнул громко, а ключ еще какое-то время позванивал брелоком. Она слушала это «дзинь-блям-дан» – или как еще передать звук брелока в полутемной комнате по имени «штаб»? – а чужая рука нырнула ей под платье.

Полное отупение, полное...

В сущности, с его стороны совсем не требовалось рвать ее зубами. Это она поймет потом и возненавидит свою полную покорность. И всегда будет вспоминать лицо вожатой, мелькнувшее в

красных тряпках. Почему она, видя, с кем шла Ольга, так подло оговорила Федора?

– Знаешь, – говорила через много лет Ольга, – в какой-то момент им стало мало комсомольцев-добровольцев... Реки вспять – это оттуда же... Ломать через колено... Хоть что... Хоть природу, хоть бабу.

Странно, но я не спрашивала ее, почему она тогда не заорала. Дело в том, что я знала почему. Я и в себе ощущала это: стыдную, идущую из потрохов покорность. Никто про меня это не скажет. Я для всех «крутое яйцо». Но я-то сама знаю! Я знаю, как умирает сопротивление, как оно сходит на нет, и в покорстве своем начинаешь жаждавать только одного – тайности стыдного твоего покорства! Поэтому я буду последней, кто бросит в Ольгу камень за то, что она тогда не выдала Юрия Петровича. Она не выдала себя. И маньяк очень хорошо нарисовался в такой ситуации. На кого еще так легко свалить собственную трусость?

А Юрий Петрович все-таки однажды подзалетел. В том же «штабе». Девчонка «устроила ему слезы с завыванием», на которое сбежались дружинники. Они стали молотить в дверь, Юрий Петрович вышел им навстречу и мрачно сказал, что «разбирается с тяжелым случаем». Но пленочка, так сказать, проявилась... Куда-то он потом делся, на девочку навесили психоз, родителям вручили

что-то ценное по лотерее. Только во время перестройки вновь мелькнул светлый облик Юрия Петровича в сугубо патриотических колоннах, и Ольга, будучи абсолютно равнодушной ко всем и всяким политическим баталиям – «а пошли они все!», – сказала мне тогда: «Мне все равно, за кого... Но я точно знаю, против кого...» Надо же случиться такой глупости, что собственный муж оказался идейным союзником Юрия Петровича.

– Ну как тебе это нравится? – спросила она. – Мне наплевать на политику, но жить я с ним не буду. Такое внутри! Боюсь сказать – «в душе». Хочется думать, что в ней нет такой гадости. Но близко к душе – точно. Я не хочу тех людей, скажем, предсердием и желудочком. Пусть даже эти хуже. Вот такая я зараза.

Мы за это выпили вермут со льдом.

– Господи! – сказала Ольга. – Завоевали бы нас, что ли, приличные инопланетяне... Не дадим мы себе ладу, не дадим...

Как раз кончался утюговый бизнес. Жизнь требовала нового семени.

Федор

Однажды, когда искали очередное «где?», Федор привел ее в старую квартиру – Луиза Францевна ездила в тот день к подруге в Одинцово.

Старушки традиционно каждый год собирались на день рождения Рашида Бейбутова, которого слепо всю жизнь любила одна из них. Прошедшие Крым и Рим пожилые советские дамы именно в этот день отдавались исключительно любви, в какой уж раз разглядывая фотографии «сладкого мусульманина». Подруге однажды в жизни обломилось «счастье поцелуя», когда она, вскарабкавшись на сцену, сумела из рук в руки передать кумиру букет. Она снова – какой уж год – говорила о запахе Рашида Меджитовича, не каком-нибудь примитивно-шипровом (других тогда не знали), а волшебном, сказочном «запахе мужчины», который ей удалось унюхать, когда великий певец торкнулся носом в ее угреватую щечку. Никто из подруг не замечал, что чем дальше оставался во времени эпизод, тем круче был поцелуй и сильнее запах. Каждая, замирая, ждала окончательного конца этой единственной встречи.

Луиза Францевна уехала, набрав кучу таблеток от давления, сухой торт и баночку спрятанного на этот случай клубничного варенья.

Старая квартира оглушила Ольгу затхлой тишиной. Она тихо обошла все службы, покрашенные извечным кубовым цветом.

В комнате Луизы Францевны за шкафом висело знаменитое сиденье для унитаза, прикрытое половинкой старенькой косынки в корабликах и

облачках. Другая половинка лежала под телевизором. Это была трогательная попытка дизайна, правда, слова тогда этого не было, просто рвалась косыночка на две части, чтоб в комнате «было со вкусом». Под сенью Луизы Францевны у Ольги случилось то ощущение счастья, ради которого двое сбегаются вместе...

Они лежали на спине и смотрели на выцветшие кораблики и облака. Ольге было до слез жалко Федора. Каково ему «теперь» возвращаться домой, ведь не «халам-балам» то, что у них было на двоих? Не халам-балам? Она ждала и боялась, какие у него случатся первые слова.

— Откуда мне было знать, что для него все случаи одинаковые? Он ничего не понял, и меня он не заметил как отдельную там, особенную. И что мне было делать со своим ощущением? Оно-то у меня было поделенным, разделенным, не знаю, как назвать... Одним словом, мне был нужен именно он. А я ему как бы и нет... На этом все и кончилось... Еще пару раз где-то встретились, но я вся зажалась, а у него что-то там не заладилось на работе. Расплевались... Вполне по-мирному.

Ольга тут врала. И я бы на ее месте врала тоже. Припала она к Федору прилично. Все тогда сошлось: освобождение от памяти Юрия Петровича (будь он проклят!), родственность, которая так была ей дорога, даже те старые неприятности с

милицией сыграли свою положительную роль, а некоторая виноватость Ольги была очень тут кстати, и, наконец, любовь под сенью унитазного сиденьца оказалась просто небесной, так что все слова Ольги на тему «расплевались» были полуправдой, если не вообще ложью.

Однажды она даже не выдержала и пошла посмотреть на Федорову жену. Мне она об этом просто проговорила, описывая сапоги башкирской женщины. Откуда она могла о них знать? Значит, ходила. Значит, смотрела.

Судьба свела ее с Федором и еще раз. Дело в том, что, когда кооператив «для нее» был в конце концов построен, ни мамы, ни папы уже не было, а дочка уже была, и естественна была мысль: квартиру сохранить для нее. А пока дочь еще девочка, решила ее сдавать, но очень боялась, чтоб никто не узнал и не отнял бы как лишнюю, как способ нетрудового дохода. Поэтому сдавали квартиру только очень, очень своим людям. Но случилось, что «свои» что-то там получили, съезжали, пришлось искать новых «своих». И вот однажды всплыл по этому делу Федор. Позвонил на работу сам, но от хорошего знакомого, разговорились...

– Слушайте, вы не Федор?

– Ольга, неужели ты?

Она сразу сказала себе «нет» на все

поставленные вопросы и даже на главнейший – для Федора у нее квартиры нет.

Еще плелась какая-то словесная интрига...

– Знаешь, ты опоздал... У меня живет родственница из Свердловска.

– У тебя не было родственников в Свердловске!

– Извини. Но мужнины – как свои. А тебе, собственно, зачем квартира?

– Так я же, детка, одинокий мужчина. Я как перст... Маму схоронил... Давай встретимся, а? Ну прошу тебя!

Она хотела на него посмотреть. Просто посмотреть. Встретились в кафе «Адриатика», что в Староконюшенном. Он нагнулся ее поцеловать. На нее остро пахнуло запущенным мужчиной. Сколько сидели, столько ощущала несвежесть его рта, его рубашки, волос, она даже курила, чтоб отбить этот дух перемен, хотя вообще была некурящая. Так, иногда, для понта. В ней стало расти раздражение против него же, что она пришла и теперь сидит с ним, «таким».

– Ты дичаешь? – спросила она его.

– В каком смысле? – не понял он.

– Во всех.

– Брось! – обиделся он. – Я в порядке. Найду хату – и тип-топ.

– А что у тебя случилось с твоей шамаханской

царицей?

– Это ты про кого?

Оказывается, с башкиркой он развелся еще тогда. Он как бы даже намекнул, что из-за нее...

– Неужели? – засмеялась Ольга. – Так вот живешь и ничего про себя не знаешь! А мне, может быть, лестно?

Он не так понял и положил руку ей на колено. Ее охватило чувство жалостливого отвращения. На какое-то время она даже не отдернула ногу, а сидела замерев, «из вежливости» – скажет она мне через время, но потом отодвинула ставшую какой-то тяжелой и чужой ногу.

– Мы это проехали, – засмеется она Федору. – Так что у тебя с твоими женами?

– Ничего, – ответил он. – С первой не было детей... Со второй... У второй был ребенок от первого мужа. Рос, рос и вырос в такого жлоба...

– Сколько ж ему лет?

– Пятнадцать... У него своя чашка. Своя ложка. Он их выделил на полочке и накрывает марлей. Мать все это блюдет, а я вечно эту марлю задеваю, сдвигаю с места. Да ерунда все это! Ты мне лучше сдай квартиру... Прогони родичей!

– Не получится, – сказала она.

Федор расплатился в кафе, но когда она достала из сумочки деньги и сказала, что платит за себя сама, деньги взял спокойно, без всяких там «да

что ты!», «обижаешь!». Не обиделся, одним словом. А она – тоже идиотка – деньги вынуть вынула, а рассчитывала на его «замашет руками». Одним словом, они не совпали. Всю дорогу Ольга думала: а не отодвинь я коленку, прорезалась бы в нем мужская щедрость? Вопрос ответа не получил, и она сказала себе: с ними (мужиками) у меня только отрицательный опыт. Потом она поймет, что нельзя обстоятельствам жизни давать определение. Какими бы они ни были, но, существуя вне системы определений, существуя, так сказать, энтропически, в хаосе обстоятельств, факты еще имеют шанс видоизмениться, выстроиться во вполне благополучный клин ли, ряд, круг... Названные же, сформулированные, они как бы подчиняются команде определяющего слова, и тут же – без вариантов.

Определяющими словами были – отрицательный опыт.

Пришла пора сказать об Ольгином муже, возникшем после Федора. Значит, была осень капусты, потом, естественно, зима, а с зимой – проблема сапог.

Кулибин

– Сапоги есть у Кулибина, – сказала ей сослуживица. – Он привез из Германии, а бабам в

его отделе не подошли. Девки мерили, приличные сапоги, но не ах...

– Я не знаю Кулибина, – сказала Ольга.

– Не знаешь Кулибина? Кого тогда ты знаешь? Чернявый такой, у него еще зуб на зуб налезает.

– А! – сказала Ольга и решила: раз знаю зуб, вполне могу сходить и спросить про сапоги. В лифте встретились неожиданно, Кулибин как раз нес коробку. В серой двенадцатизэтажной «свече» все друг друга знали в лицо, Кулибин улыбнулся своим выпирающим, как бы предварительным, зубом, Ольга в другой раз сделала бы вид, что читает правила эвакуации из лифта, но тут... Коробка определяла линию поведения.

Господи, думаю я иногда и об Ольге, и о себе, – как мы жили! Как нами руководили мохеровые кофточки на пуговичках и без, кожаные перчатки, джинсовые юбки с кожаным лейблом. Сроду бы мы не стали ручкаться с N, но поди ж ты... Шапка... По твоим деньгам и то, что надо, по виду. И ты перся к N, неся на губах эту гадостную улыбку соискателя дефицита. Сколь угодно можно внушать себе, что все это ерунда и не шапкой определяется жизнь. Конечно, не шапкой... Разве я о ней? Я об улыбке... Я об униженной жалкости этих отношений...

К случаю Ольги это даже не имело

отношения, разве что к самому началу встречи в лифте. Потому что потом у них как-то очень быстро все закрутилось на другом уровне.

Кулибин жил с сестрой и матерью в Тарасовке, на дорогу тратил два часа в один конец, страстно мечтал переехать в Москву, и, если говорить честно, не было это чем-то неразрешимым. Мужчина он был вполне приличный и по природе, и по социальному положению, у него были спорадические женщины – а почему бы им не быть? Некоторые из них хватались за него обеими руками в расчете на серьезные продолжения, но у Кулибина до сих пор что-то там не срабатывало в ответ. Если говорить старорежимными словами, которые уже сейчас практически сошли на нет, Кулибин был человек с понятиями и запросами. На них, как мы узнаем впоследствии, он и подорвался, как сапер на mine. Кулибин страстно хотел в Москву посредством женитьбы, но ему – идеалисту хренову – еще нужно было эту женщину захотеть как телом, так и душой. Такое многоканальное у него получалось желание.

Сапоги Ольга не купила, они ей оказались велики даже на шерстяной носок, но разговор завязался и как-то естественно перекинулся из торгового плана в область тонких вибраций. Тогда недавно умер Шукшин, и все говорили: «Шукшин,

Шукшин», – все интеллигентные люди как бы сплотились в горе, что вообще у русских получается куда лучше, чем сплочение в радости. Ольга и Кулибин тоже сцепились на этой теме, что называется, отвели душу в жалости, и им стало хорошо.

Кулибин был приглашен домой и познакомлен с мамой. Его совершенно не смутило спущенное до полу одеяло на маминой софе по имени «Ладья», он даже скумекал тайну этого трюка по сокрытию «утки». «Скажите пожалуйста, какие устроили секреты!» – говорил потом Кулибин. Он был нормально хороший мужчина, он понимал, что такое лежачая болезнь и все проистекающие от нее обстоятельства. Он проникся сочувствием к Ольге и оценил качество ее моральных принципов. Когда у них пошли объятья-поцелуи – а дело это, как правило, вечернее, – у него пару раз случались накладки в виде опоздания на электричку, но он не использовал это в целях давления на Ольгу. Отношения развивались медленно и красиво, можно сказать, на чистой дистиллированной воде.

Так что замужество Ольги было вполне по любви и уважению. Кулибин оказался хорошей партией, а то, что он в результате переехал в Москву и перестал мерзнуть в неотопливаемых вагонах, так это уже просто приложение – добавка к

весьма и весьма удачному браку. Хотя само словосочетание нелепо.

Со временем выяснилось, что Кулибин – человек хозяйственный: в доме перестало капать, дуть и искрить. Они теперь ездили на работу вместе, Ольга висла на его руке, ей было приятно, что есть на ком и не надо сжиматься в собственном одиночестве. Кулибин посверкивал своим «предварительным» зубом, вполне ощущая себя силой защиты и надежды.

Начало конца не имело ни вкуса, ни запаха, ни вида.

Когда потом, через годы, Ольга – в «чисто исследовательских целях», скажет она, – будет искать причину, то так ничего и не найдет, потеряв клубочек, по которому шла.

– Грубо говоря, – засмеется она, аккуратно облизывая край рюмки с шерри, – грубо говоря, моя дорогая, я уперлась мордой в утюги и кипятильники. Кстати... Ты знаешь, как пахнет Польша?

Збигнев

– Она пахнет бигосом и духами «Быть может». Надо сказать, мне это поначалу даже нравилось. Потом, правда, стало тошнить. Но уверяю тебя, это моя личная эндокринология – или

как зовут то, что отвечает в нас за все подспудное? Вегетатика? Серьезно? Не подозревала... Я думала... татика – по грубой части... А я ведь про флюиды тонкие, паутинные. Когда в один момент нечто тебе нра... нра..., а в другой – на фиг не нужно.

Дочь Маня уже ходила в школу, мамы уже не было.

В душе Ольги было томливо.

Странное ощущение червя внутри. Вначале даже чисто физическое. Как будто кто-то в тебя внедрился, подсосался и тянет из тебя соки. Выяснилось: у нее нехватка железа, анемия. Надо бороться за повышение гемоглобина.

Именно тогда Ольга поперлась в электрический магазин, много чего увидела и купила соковыжималку, чтобы дрючить на ней морковку. Каждый день стакан сока, и не меньше. Одна дама из их отдела, из тех, что были прикреплены к разным питательным кормушкам, сказала Ольге:

– Для крови надо есть свежее парное мясо. С рынка. А от моркови у тебя только моча улучшится.

Хорошо отреагировал на этот пассаж Кулибин. Он сказал Ольге:

– Ты покупай на рынке себе, а нам с Маней не давай. Нам сгодится и магазинное.

– Два обеда, что ли, готовить?

– Ну, давай включай меня в процесс...

На том и кончилось. Попила лекарства, а к врачу больше не пошла. Через какое-то время слышала, как снова ворохнулся в ней старик червяк, ища жилу послабее.

Тут и случилась поездка в Польшу. Называлось: «по обмену». Ее научили, что лучше там купить, имелось в виду для себя, ничего другого в голове и близко не было. Измерила Маню вдоль и поперек, походила с сантиметром вокруг Кулибина, когда обхватывала его за задницу на предмет возможных джинсов, червь-подселенец как-то дернулся, возникла даже тошнота. Ею и запомнился этот обхват руками мужниных чресл.

Поездка проходила нормально. Польша нравилась. Все есть. Народ с ленцой, совсем как мы. Но выглядит куда лучше. Пани их гонористые, к русским презрительные, но Ольга это принимала. «А чего им перед нами стелиться?»

На обратной дороге – что-то напутали с билетами – она попала в купе с поляками. Двое из них почти всю дорогу просидели в ресторане, а того, кто с нею остался, звали Збигнев.

Они были ровесники, Збигнев немного учился в Москве, поэтому вполне прилично говорил по-русски. Ольга за время поездки тоже нахваталась фразочек, одним словом, без проблем. Збигнев был рыжий, большой и смешливый.

Он ехал в Москву в командировку на фабрику «Свобода», вез образцы польского парфюма – и чтоб показать, и чтоб одарить. Ольге тут же обломилась изящная темно-синяя коробочка «Пани Валевской». Она приняла презент радостно, ни на грамм не сомневаясь в его искренности. Их дорожная любовь, практически без раздевания, вся – сплошное ухищрение, оказалась такой головокружительной, что в самый что ни на есть момент Ольга едва выдохнула: «Ну, матка боска Ченстоховска!» И они так захохотали, что Ольга чуть не подавилась смехом, и Збигнев бегал за водой, и его захотела затащить к себе проводница Женя. Он едва вырвался, а проводница весь рейс люто ненавидела за это Ольгу. Это потом, потом они станут подружками, когда дорога в Польшу и обратно будет освоена, как электричка в Тарасовку, а Ольга станет позорной спекулянткой. Разве тогда кто-то знал, что она на самом деле спасительница отечества по имени «челнок»?

Что такое был Збигнев в жизни Ольги? Знак отваги? Ишь, мол, как могу! Знак радости, которая, оказывается, гнездится где-то в тебе самой, и только при помощи радости, живущей в другом, она всхлопывает крыльями как оглашенная – и из ничего получается все! Ольга как дура захочет потом искать хлопанье крыльев с Кулибиным, но все будет мимо, а когда она будет класть на него

свои ладони, то всегда будет ощущать шероховатый сантиметр, которым ей как-то пришлось опоясать его чресла. Ах, эти органы чувств! Какие подлянки они нам подбрасывают!

Збигнев в жизни был один раз. Он обещал позвонить в Москве – не позвонил. Когда через год, уже с утюгами и кипятильниками, Ольга приехала в Варшаву, она торкнула пальцами цифирьки телефона. Ей ответили и тут же послали «к матери Бени». Скоропалительность адреса говорила о том, что его приходилось называть не один раз. «Ах ты сукин сын! – с нежностью подумала Ольга. – Устроил ты всем свободу на баррикадах».

Не было ни обиды, ни чувства оскорбленного достоинства, более того, где-то жило удовлетворение, что не было у них «другого раза», что все так замечательно кончилось смехом и сознанием удивительной легкости любви.

А Кулибин в джинсы, которые в конце концов привезла ему Ольга, не влез.

Он стоял перед женой раскоряченной тупой материей, кончик молнии стыдливо застыл на самой что ни на есть сути, не в силах сомкнуть зубчики застежки.

– У них же не те размеры! – сокрушался Кулибин. – Мы же телом мощнее...

– Снимай, если сумеешь, – сказала Ольга. – Но не дергай больше молнию – мне их еще